



М. А. ПРОТОПОПОВ

Жертва безвременья

(Повести г-на Антона Чехова)

Ты должен знать,
Что время делает людей.

*Шекспир*¹

...тощий плод, до времени созрелый,
Ни вкуса нашего не радуя, ни глаз,
Висит между цветов, пришлец осиротелый,
И час их красоты — его паденья час.

*Лермонтов*²

I

«Будь только человек добр, его никто отразить не в состоянии». Это один из многочисленных и большею частью удачных афоризмов, которые любил вставлять Тургенев в свои произведения. На первый взгляд, этот афоризм — не более, как парадокс, придуманный какою-нибудь мягкою душой для своего собственного успокоения. Доброта как орудие и даже *неотразимое* орудие борьбы, — какая сентиментальность! Борьба посредством собственных боков — какая наивность! Уступчивость и кротость как средства благого воздействия на людей — какая аркадская идиллия! В этой жизни, где «человек человеку — волк», где идея солидарности и братства между людьми представляется какою-то бессильной утопией, где, по слову поэта, кипит «вечная, бесчеловечная вражда-война»³, — провозглашать среди таких условий доброту души как верховный принцип, значит просто идти против природы людей, забы-

вать о том естественном чувстве самосохранения, которое свойственно всем людям и даже всем живым существам без исключения.

Однако вот другой крупный авторитет наш — Хвоцинская-Заиончковская⁴, в одном из последних романов которой мы встречаем такой афоризм: «Для того, чтобы быть правым, нужно прощать бесконечно». Читатель видит, что это не более, как перифраз мысли Тургенева, с оттенком, пожалуй, некоторой экзальтации, столь вообще свойственной женской натуре. Совпадение этих афоризмов не случайно, и они были высказаны их авторами не легкомысленно, не для фраз, не для красоты слога, а как бы в виде краткого резюме всего того житейского опыта и того глубокого проникновения в душевные тайники людей, которыми так богаты были и Тургенев, и Хвоцинская. Как же быть нам, читателям, доверяющим руководству этих светил нашей литературы? Сомневаться в искренности и продуманности их показаний мы не можем и не смеем. С другой стороны, мы не можем не повиноваться голосу своего разума и своего внутреннего чувства, которые решительно отказываются усвоить это успокоительное учение, в его полном объеме, по крайней мере. Мы не можем уподобиться тому читателю, про которого рассказывала горбуновская⁵ старуха: «Намедни Володя читал умную книжку, да после стал у ворот, да всякому, кто ни пройдет, мужик ли, барин ли, всем в ноги кланялся, плачет да кланяется: «Простите, говорит, меня окаянного. Книжка уж такая. Все, говорит, мое сердце растопилось». Ведь даже эта старуха, объясняя поведение этого Володи, говорит, что он «разумом помутился, в яме он долго сидел — от этого, говорят, *разумом помутился*», а между тем, образ действий «Володи» — только крайний логический вывод того *бесконечного прощения*, которое рекомендовала Хвоцинская, и последнее выражение той всеобъемлющей *доброты*, о которой говорил Тургенев.

Попробуем обратиться за разъяснением дела к Льву Толстому, но не к Толстому-философу, который своим учением о непротивлении злу говорит почти то же самое, что мы только что слышали и отвергли, а к Толстому-художнику и психологу. В последней части романа «Война и мир» Толстой показывает нам сущность того нравственного перерождения, которое пришлось испытать Пьеру Безухову после его плена у французов и знакомства с Каратаевым: «Прежде он казался хотя и добрым человеком, но несчастным, и потому люди невольно отдалялись от него. Теперь улыбка радости жизни постоянно играла

около его рта, и в глазах его светилось участие к людям, — вопрос: довольны ли они так же, как и он? И людям было приятно в его присутствии. Прежде он много говорил, горячился, когда говорил, и мало слушал; теперь он редко увлекался разговором и умел слушать так, что люди охотно высказывали ему свои самые задушевные тайны. Княжна, никогда не любившая Пьера и питавшая к нему особенно враждебное чувство, скоро почувствовала, что она его любит. Пьер ничем не заискивал расположения княжны, он только с любопытством рассматривал ее. Прежде княжна чувствовала, что в его взгляде на нее были равнодушие и насмешка, и она, как и перед другими людьми, сжималась перед ним и выставляла только свою боевую сторону жизни; теперь, напротив, она чувствовала, что он как будто докапывался до самых задушевных сторон ее жизни; и она сначала с недоверием, а потом с благодарностью выказывала ему затаенные добрые стороны своего характера. Самый хитрый человек не мог бы искуснее вкратиться в доверие княжны, вызывая ее воспоминания лучшего времени молодости и выказывая к ним сочувствие. А, между тем, вся хитрость Пьера состояла только в том, что он искал своего удовольствия, вызывая в озлобленной, сухой и по-своему гордой княжне человеческие чувства. Слуги находили, что Пьер теперь много попростел. Страстную любовь пленного итальянца Пьер теперь заслужил только тем, что он вызывал в нем лучшие стороны его души и любовался ими».

Дело начинает понемногу разъясняться. Афоризм Тургенева: «Будь только человек добр, его никто отразить не в состоянии», начинает раскрываться перед нами во всем своем глубоком смысле и значении. Пьер *много попростел*: это значит не то только, что он стал доступнее, естественнее в своих сношениях с людьми, а значит именно то, что он стал *добрее*, то есть участливее, внимательнее и снисходительнее к другим. В этом заключался весь секрет нравственного обаяния Пьера, вся его «хитрость», как выразился Толстой, секрет простой, как колумбово яйцо, и, все-таки, требующий для своей разгадки остроумия Колумба. Добрых людей немало на свете, и понятие доброты — очень широкое понятие. Добр тот, кто бескорыстно радуется чужой удаче и опечаливается чужим несчастьем; добр тот, в ком живо и деятельно чувство сострадания ко всякому живому существу; добр тот, кто терпеливо несет свой крест, без ропота на свою судьбу; добр тот, кто умеет прощать обиды, для кого чувство мести не составляет источника удовлетворения; добр и тот, кто с радостною готовностью уступает

свое место каждому, кого он признает более достойным себя; добр, наконец, всякий, кому легче дышится в атмосфере любви, единения, согласия, мира и благоволения, нежели в атмосфере ненависти, борьбы и ожесточения.

Злобою сердце питаться устало,
Много в ней правды, да радости мало!⁶

Вот как выражается даже в закаленных бойцах эта жажда успокоения и примирения, не обломовского успокоения на мягком диване, в комфортабельном кабинете, с крепко запертою для всех дверью, и не примирения во что бы то ни стало, с выдачею головою всего, за что боролся, чем жил и дышал, а успокоения в убеждении или в вере в человеческое достоинство и примирения с людьми, а не с заблуждениями людей. Этой именно высоты нравственного развития достиг герой Толстого, и эта высота — последняя грань той разумной и сознательной доброты, которая действительно влияет неотразимым образом и покоряет сердца. *Вызвать человеческие чувства*, как говорит Толстой, это значит вызвать *лучшие* чувства, придавленные гнетом жизни или заваленные ее сором, и у кого же нет таких чувств? И кому же не отрадно хоть ненадолго почувствовать себя лучше, чище, человечнее, нежели обыкновенно? Все мы, подобно княжне Толстого, принуждены «выставлять только свою боевую сторону», вынуждены бороться за свое нравственное и за свое физическое существование, за свои идеалы, как и за свой хлеб, и ничего отрадного тут нет. Венец борьбы — победа; но разве в победе удовлетворение? Ведь, кроме вас, победителей и триумфаторов, есть еще побежденные, ваше торжество есть унижение подобных вам, ваши победные клики аккомпанируются стонами умирающих и плачем осиротевших. Метафора, взятая нами (битва, стоны, слезы), слишком широка и красива для нашей серенькой действительности, но смысл ее применим к самым будничным явлениям. Вы потешили свое самолюбие, но почти неизбежно на счет чужого самолюбия; вы показали свою власть, но тем сильнее почувствовал кто-то горечь своего подневольного положения; вы стали богаче — кто-нибудь стал от того беднее; вы заняли положение, место, должность — длинный ряд ваших конкурентов чувствует себя нехорошо и т. д. Безгрешна только борьба с внешнею природой, но борьба человека с человеком, общества с обществом, даже в самых мелких своих проявлениях, неизбежно сопровождается рядом ущербов и обид для одной из заинтересованных сторон. Нельзя требовать от людей самоотвер-

жения, нельзя ожидать от них добровольного подчинения или хотя бы только «непротивления» врагу, но можно допустить, что, по крайней мере, лучшие между нами одновременно с горделивым сознанием победы испытывают не мстительное злорадство, а какую-то нравственную неловкость, в которую входят как слагающие элементы и участие к побежденному, и стыд за причиненные страдания, и раскаяние в злоупотреблении своею силой. Только дикарь издевается над побежденным, бьет лежащего, в своем превосходстве видит свое право, в факте своей победы усматривает нравственную санкцию. Цивилизованный человек оправдывает себя необходимостью, а кто оправдывается, тот, по французской пословице, обвиняет себя, и это самообвинение тем сильнее, чем выше нравственный уровень человека. Как бы ни сильно говорило за вас обстоятельство, как бы ни справедливо казалось вам право самообороны, сколько бы вы ни слагали ответственность на общие условия жизни, лежащие вне вашей власти, все-таки голос совести не перестанет твердить вам, что вы были орудием казни, источником страдания, что над вашей головой тяготеют людские проклятия. «Горе побежденным!» — этот клич безумствующего насилия, упоенного успехом варвара, нравственное сознание которого подавлено звериными инстинктами. Для человека в победе радости мало, даже в такой победе, в которой много правды, потому именно мало радости, что питаться злобою не свойственно человеческому сердцу. Горе побежденным — это несомненно, но горе и победителям.

От этих общих соображений обратимся опять к конкретным примерам и к живым людям. В чем заключался и чем был обусловлен нравственный процесс Пьера? Прежде Пьер относился к людям (не к одной княжне, конечно) «с равнодушием и насмешкой», и, разумеется, ему платили соответственной монетой. Насмешка на почве равнодушия, которая ровно ничем не лучше или даже хуже презрения, — это такое наступательное оружие, против которого неизбежно будут выдвинуты «боевые стороны». Пьер мог одерживать в этих столкновениях постоянные победы, мог сколько угодно тешить свое самолюбие, подавлять людей своим мнимым или действительным превосходством, но в результате этих побед не могло быть ничего, кроме ожесточения. Покорить человека — не значит придавить человека. Уменьше импонировать — очень дешевое умение, прекрасно усваиваемое бесчисленным множеством пустых и тупых людей, усматривающих в нем выражение своего достоинства. Но не такими средствами приобретаются *действи-*

тельные победы над людьми, покоряются их сердца, завоевывается их доверие и их любовь. Мы называем разумным педагогом того, кому повинуются «не за страх, а за совесть», чей авторитет основывается на разуме, а не на принуждении. Мы называем дрессировщиком того, кто основывает свое влияние не на внутренних ресурсах своей личности, а на внешних средствах, доставляемых ему его положением. Разве этот справедливый взгляд не может быть перенесен из школы в жизнь? Разве этот критерий не применим по отношению к взрослым людям, подавляющее большинство которых не меньше детей нуждается в разумном руководительстве? И разве какое бы то ни было руководство возможно без доверия, вызываемого вниманием и участием?

Если человек способен к совершенствованию, и если его нравственное развитие идет правильно, он рано или поздно достигнет той ступени, которой достиг Пьер, разгадает его секрет уметь *быть простым*. Пьер пришел к этому путем тех новых ощущений и мыслей, которые были вызваны в нем лишениями и даже мучениями плена у неприятеля, заодно с разными серыми Каратаевыми, которых Пьер не только не наблюдал, но и не замечал в счастливую пору своей жизни. Богатство Пьера и все вообще его общественное положение, доставшееся ему со всею слепотой случайности, создали для него некоторый пьедестал, достаточно высокий, чтобы смотреть на толпу сверху вниз. Внешние исключительные обстоятельства наглядно показали ему всю непрочность этого пьедестала и, вместе с тем, всю неправоту его высокомерного отношения к людям, но к такому же результату ведут и менее необыкновенные пути, если только, повторяем, человек способен и хочет идти вперед. Жизнь всем дает этого рода уроки, и не ее вина, если не все ими как следует пользуются. Некрасова привело к этому состоянию духа созерцание родной природы:

Лес начнется — сосна да осина:
 Не весела ты, родная картина!
 Что же молчит мой озлобленный ум?..
 Сладок мне леса знакомого шум,
 Любо мне видеть знакомую ниву, —
 Дам же я волю благому порыву
 И на родимую землю мою
 Все накипевшие слезы пролью!
 Злобою сердце питаться устало, —
 Много в ней правды, да радости мало;
 Спящих в могилах виновных теней
 Не разбужу я враждою моей.

Родина-мать! я душою смирился,
 Любящим сыном к тебе воротился,
 Пред тобою мне плакать не стыдно,
 Ласку твою мне принять не обидно, —
 Дай мне отраду объятий родных,
 Дай мне забвенья страданий моих!⁷

Буквально тот же самый мотив мы находим у Лермонтова. «Когда, — говорит поэт, — волнуется желтеющая нива, серебристый ландыш приветливо кивает головой, студеный ключ играет по оврагу,

Тогда смиряется души моей тревога,
 Тогда расходятся морщины на челе,
 И счастье я могу постигнуть на земле,
 И в небесах я вижу Бога»⁸.

Разумеется, созерцание природы может вызвать только мимолетное настроение духа, достаточно сильное, чтобы вдохновить поэта на лирическое стихотворение, но слишком слабое, чтобы произвести коренной внутренней переворот в человеке, чтобы навсегда смирить тревогу его души и разгладить морщины на его челе. Крупные результаты добываются только большими усилиями, и человеку, вышедшему из стихии бессознательной непосредственности, только ценою страданий становится доступным, наконец, *постигнуть счастье на земле и в небесах увидеть Бога*. Если его голова не закружится на этой высоте, если он вполне освоится в этой области, где знание и вера сливаются в высшем синтезе, если он умеет сочетать мудрость змия с кротостью голубя, то тургеневский образ доброго человека, которого никто отразить не в состоянии, является перед нами в живом осуществлении. Такому человеку и афоризм о бесконечном прощении покажется, вероятно, не громкою фразой, а простым и удобоисполнимым житейским правилом. Но попасть в этот рай можно только тому, кто прошел через чистилище.

В той действительности, которою живем мы, дела делаются иначе, в огромном большинстве случаев. Жизнь не просветляет, а деморализует человека, и нужен огромный запас душевной силы, чтобы не измельчать в житейской суете, не ожесточиться в житейской борьбе. Несмотря на свой крайний индивидуализм, Толстой относит перерождение своего героя не к тому времени, когда Пьер сделался масоном и завел тетрадку, в которую вносил все свои прегрешения, чтобы воздерживаться от них впредь, — Пьер изменился к лучшему тогда, когда резко изменились условия его жизни: богач стал бедня-

ком, пожирающим лошадиное мясо, бесконтрольный повелитель десятков тысяч крепостных душ превратился в безответного раба, которым как хотели помыкали французские солдаты. Этот урок жизни оказался в меру сил Пьера, — не погубил, а обновил его. Гораздо чаще люди не выдерживают испытаний, представляющихся для них даже не в форме таких катастроф, какая постигла Пьера, а в форме разного рода булавочных укулов, от которых не спасешься теперь даже в пустыне. Чем мельче в нравственном отношении человек, тем быстрее хроническое раздражение от этих укулов переходит у него в озлобление и, наконец, в ожесточение, выражающееся не в каких-нибудь проклятиях роду человеческому à la король Лир и не в пессимизме à la Шопенгауэр, а в постоянной готовности напасть на своего ближнего даже не ради личных интересов, а, так сказать, из любви к искусству. «Мне скверно или было скверно, пусть будет скверно и тебе» — вот обычная логика огромного большинства людей. В житейском обиходе это называется «срывать зло». Мужик сжигает стога своего соседа, *потому что* сам разорен кабатчиком; столоначальник распекает канцелярского чиновника, *потому что* сам только что был распечен начальником отделения; сапожный подмастерье дует колодкой ученика по голове, *потому что* «нас еще не так били». Не в том масштабе и не в тех формах, но с сохранением той же самой сущности мы можем наблюдать однородные явления и в более высоких сферах жизни. Вот государственный человек, который противится всяким мероприятиям *par dépit*⁹, потому только, что чувствует упадок своего влияния; вот ученый, предающий анафеме «университетскую науку» потому только, что не нашел себе кафедры; вот художник, проклиная «академическую рутину» потому, что не попал в академики; вот публицист, перебегающий в другой лагерь единственно потому, что в прежнем лагере его «не оценили»; вот беллетрист, пишущий дегтем вместо чернил потому, что самолюбие его оскорблено такими-то людьми или такими-то литературными кружками. Атмосфера личного озлобления сгущается все больше и больше и в иные исторические эпохи становится просто удушающей. «Мелочи жизни»¹⁰ выступают на первый план в качестве подлинного содержания жизни и в тине этих личных мелочей извращаются характеры, умы, таланты...

Нетрудно резюмировать все эти замечания. Развитие личности находится в теснейшей зависимости от состояния общества и служит его показателем. По природе вещей и по здравому смыслу, даже обыкновенный человек должен бы становиться тем лучше, т. е. умнее, добрее, человечнее, чем дольше он живет на све-

те, чем более он приобретает знаний, чем шире раздвигается его опыт, чем продолжительнее его общение с людьми. Факты говорят иное: чем больше человек живет, тем хуже, т. е. суше, эгоистичнее, безучастнее становится он, и этот процесс душевного одеревенения идет тем быстрее, чем неправильнее общие основы жизни, так что в иных случаях и в иных обществах жизнь целыми массами подготавливает тридцатилетних мудрецов, которые в пределе земном совершили все земное.

Из всех молодых мудрецов современной литературы нашей г-н Чехов самый мудрейший... Это основная, определяющая черта литературной физиономии г-на Чехова, и после того, что мы говорили выше, читатель не затруднится понять настоящее значение и настоящий характер таланта г-на Чехова.

II

Прошу читателя припомнить одно старое стихотворение, которому уже пятьдесят четыре года от роду, но которое, тем не менее, преисполнено самой жгучей современности. Я говорю о знаменитой «Думе» Лермонтова, основная тема и даже второстепенные мотивы которой повторяются теперь почти с буквальной точностью и в печатных, и в устных беседах. «Печально я гляжу на наше поколенье» — вариации на эту тему мы слышим со всех сторон в применении к современному молодому поколению нашему. Почему *печально*? Потому, что, по всем видимостям, «в бездействии состарится оно»; потому, что оно «к добру и злу постыдно равнодушно»; потому, что оно «в начале поприща вянет без борьбы»; потому, что оно «ненавидит и любит случайно, ничем не жертвуя ни злобе, ни любви»; потому, что, несмотря на огонь в крови, в душе его царствует какой-то холод тайный; потому, наконец, что, наперекор бесчисленным и иногда грубым похвальбам, оно не дало до сих пор «ни мысли плодovитой, ни гением начатого труда». Если, к счастью, Лермонтов ошибся в своих грозных предсказаниях относительно *своего* поколения, оставившего после себя наследие, которое, конечно, не может вызвать улыбки горькой обманутого сына над промотавшимся отцом, то есть ли для нас хоть какая-нибудь надежда на такую же удачу?

Послушаем других, более к нам близких свидетельств. Бесплезно было бы обращаться к самосознанию нашей литературной молодежи, потому что, выражая недовольство чуть ли не всем

миром, она, в то же время, очень довольна собою; но вот что говорит один из современных поэтов наших, старый годами, но молодой духом:

Сняла с меня судьба в жестокий этот век
 Такой великий страх и жгучую тревогу,
 Что я сравнительно — счастливый человек:
 Нет сына у меня; он умер, слава Богу!
 Он был бы юношей теперь. В том и беда.
 О, как невесело быть юным в наше время!
 Не столько старости недужные года,
 Как молодость теперь есть тягостное бремя.
 А впрочем, удручен безвыходной тоской,
 Которая у нас на утре жизни гложет,
 В самоубийстве бы обрел уже, быть может,
 Он преждевременный покой.

.....

Иль, может быть, в среде распутства и наживы,
 Соблазном окружен и юной волей слаб,
 Он духа времени покорный был бы раб...
 Такие здравствуют и живы.
 И сколько юношей на жизненном пути
 Как бы блуждающих средь мрака и в пустыне!
 Где цель высокая, к которой им идти?
 В чем жизни нашей смысл? В чем идеалы ныне?
 С кого пример брать? Где подвиг дел благих?
 Где торжество ума и доблестного слова?..
 Как страшно было бы за сына мне родного,
 Когда так жутко за других!¹¹

Такова современная поэтическая «Дума» наша, которая так и просится в параллель с лермонтовским стихотворением. Между этими стихотворениями лежит целых полвека, но трудно решить, в котором из них больше печали и горечи. Можно заметить одно: энергические упреки Лермонтова своему поколению проникнуты каким-то негодованием, которое понятно и естественно тогда только, когда обращается против действительного виновника, между тем как современный поэт, будучи почти сверстником Лермонтова и говоря о поколении детей и внуков, не обвиняет никого, не негодует, не укоряет, а только грустит, как перед неотвратимым стихийным бедствием. Это различное отношение к делу происходит не только от различия поэтических темпераментов, но и от различия эпох и исторических условий. Лермонтов полагал, и имел известные резоны на это, что избобличаемое им поколение добровольно избрало свой путь познания и сомнения, тогда как в наше время

этого сказать нельзя и на вопросы: «в чем жизни нашей смысл? В чем идеалы ныне?» — ответа ниоткуда не слышится.

Казалось бы, что может быть безобиднее этих вопросов? Однако г-н Чехов имеет смелость отрицать даже самое право наше ставить подобные вопросы. «Разговоры об измелъчании, отсутствии идеалов и проч. на тех, у кого есть братья, дети или ученики, действуют всегда угнетающим образом: эти люди падают духом. Кто недоволен молодыми людьми, тот может беседовать с ними самими, а разговоры эти пора бы уж прекратить»¹². Так заставляет г-н Чехов выражаться одного из наиболее замечательных и симпатичных своих героев — знаменитого ученого, оригинального мыслителя и очень доброй души человека. Слишком ясно, однако же, что не старый профессор (герой «Скучной истории»), а сам молодой автор наш находит, что «пора бы уж прекратить разговоры об измелъчании, отсутствии идеалов и пр.». Старый профессор слишком стар, чтобы трактовать вопросы молодого поколения с ясно выраженным чувством личного раздражения. Далее, старый профессор умен и опытен, чтобы советовать прекращение таких разговоров, материал для которых постоянно доставляется самою жизнью. Наконец, старый профессор слишком искушен в логике, чтобы в *прекращении разговоров* усматривать средство к *поднятию духа* той или другой общественной группы. Нет, очевидно, это все говорит нам не опытный и проницательный мыслитель, старый друг и слуга науки, а довольно легкомысленный, хотя и талантливый представитель того самого поколения, об измелъчании которого идут неприятные разговоры. Прямой человек мог бы без больших околичностей сказать тут, что на воре шапка горит.

Трудно даже понять, чего собственно хотел бы г-н Чехов, требуя от нас, чтобы мы или прекратили разговоры об измелъчании, или обращались с ними не друг к другу и отнюдь не во всеуслышание, а только на ушко к самой молодежи. Эти разговоры, — заявляет г-н Чехов, — «действуют угнетающим образом *на тех*, у кого есть дети, братья или ученики». Но у нас, разговаривающих, именно и имеются дети, братья, ученики, и потому мы именно и разговариваем, что вопрос об измелъчании молодежи для нас не академический, а насущный, кровный вопрос. Измелъчало не какое-то отвлеченное молодое поколение, о котором и так, и эдак рассуждают в абстракте разные журналы и газеты, — мелочны, сухи, ничтожны кажутся нам вот эти самые живые Вани и Иваны, наши дети и братья, которых мы любим и которых поэтому нам больно презирать.

Именно этот факт измельчания, со всеми вытекающими из него последствиями, и угнетает нас, а совсем не разговоры об этом факте, как полагает г-н Чехов. Подобно тому, как некоторые публицисты утверждают теперь, что если бы не было разговоров о голоде, то не было бы и самого голода, г-н Чехов склоняется к той мысли, что для борьбы с измельчанием достаточно не замечать измельчания. Но мудро не замечать того, что заставляет страдать. Разве мы слепы? Это недоверие к силе и значению идей, эта биржевая положительность, считающая журавлем в небе все, чего нельзя спрятать в бумажник и положить в карман, это искреннее недоумение перед всяким бескорыстным и, тем более, самоотверженным поступком, это наполовину ироническое, наполовину скептическое отношение к лучшим душевным движениям и свойствам, это высокомерное и самоуверенное невежество, эта, наконец, злостная, умышленная похвальба тем, чего следовало бы стыдиться, как, например, своими успехами «в среде распутства и наживы», — всего этого мы не можем не видеть в значительной части современной молодежи, а видя, не можем не судить, не печалиться и вообще не «разговаривать» об этом.

«Я сравнительно счастливый человек: нет сына у меня, он умер, слава Богу!» — с иронией отчаяния говорит осиротевший отец, а г-н Чехов раздражительно замечает, что такие жалобы «пора бы уж прекратить», потому что они угнетают других отцов. Есть извращенная логика, которая показывает, что у человека, пользующегося ею, умственные способности не в благополучном состоянии; но есть другая, еще худшая логика, которая свидетельствует, что у человека сердце не на месте. Что же касается совета г-на Чехова обращаться с такими жалобами и «разговорами» непосредственно и исключительно к самой молодежи, то позвольте нам сказать, что в этом совете смысла нет. Во-первых, «время делает людей», как говорит Шекспир, и если это справедливо по отношению к взрослым, уже сформировавшимся людям, то по отношению к людям еще формирующимся это вдвое справедливее. Если молодежи *не с кого примера брать*, если она не видит *подвига дел благих*, если *торжество ума и доблестного слова* остается все еще только платоническим пожеланием нашим, то ответственность за все это лежит, конечно, не на молодежи, которая является тут не более, как *массовою жертвой безвременья*. Во-вторых, уверен ли г-н Чехов, что наше сердечное и доброжелательное обращение было бы встречено также сердечно и доброжелательно? Мы в этом совсем не уверены. Прошу читателя вникнуть, напри-

мер, в такую характеристику, сделанную одним из представителей нашего молодого поколения так называемым людям шестидесятих годов:

«Вот пожилой, но еще не поседевший человек в крылатке и в порыжелой шляпе, с желтым полинявшим лицом. Каким Ольга Михайловна знала его еще в детстве, таков он и теперь, даже плешь не стала больше. Говорит он всегда длинно, монотонно и с претензией на литературность. Почему-то он называет себя человеком шестидесятих годов (таких полинявших субъектов, монополизирующих шестидесятые года, в каждом городе и уезде имеется по одному). За обедом, за чаем, на гуляньи в экипаже, в лодке, всегда неизменно говорит об идеалах, об эмансипации женщин, о прогрессе, о темных силах, о науке, о литературе, декламирует с чувством стихи, в которых встречаются часто слова «заря», «закат», «факел», «рокот», судит о газетах и журналах, издателях и редакторах, одних хваля, других обвиняя в изменничестве, третьих величая подлыми. На правах человека шестидесятих годов, он грустит о светлом прошлом и отрицает настоящее. В Петре Дмитриче видит он опасного ретрограда, перед Ольгой же Михайловной благоговевает за то, что она либеральна и была на курсах. Язык его вычурен и изыскан. Так, будущее называет грядущим, молодых людей — молодою силой или подрастающим поколением, мужиков — народною нивой и т. п. Не говорит он, в сущности, ничего дурного и, вероятно, всегда искренен, но почему-то всякий раз, едва он откроет рот и своим замогильным тенорком заведет речь об эмансипации или идеалах, как от всей его фигуры начинает веять старым, заброшенным погребом»¹³.

Сколько ненужной ядовитости и беспричинной злости в этой характеристике! Не только недобрым, но и нечистым чувством она внушена, чувством мелкой ненависти, личный характер которой не подлежит сомнению. Это не характеристика — это ряд ничтожных придирок и дешевеньких насмешек над внешностью! Поружелая шляпа... полинявшее лицо... претензия на литературность... декламрование с чувством стихов... грусть о прошлом... вычурный и изысканный язык... замогильный тенорок... Какие, подумаешь, огромные недостатки и тяжкие преступления! Если против человека можно поставить только *такие* обвинения, если при самом пламенном желании очернить или унижить его приходится ограничиваться гостинодворским зубоскальством над костюмом, голосом и манерами, — это значит, что обвинитель или не понимает обвиняемо-

го, или ему во всех отношениях далеко до него, что, впрочем, почти одно и то же.

Читатель догадался, конечно, что язвительная характеристика людей шестидесятых годов принадлежит г-ну Чехову, который просит «прекратить разговоры» о людях восьмидесятых годов. Этот полемический маневр г-на Чехова вполне раскрывает его позицию. Он певец современности, ей отдает он свои симпатии и не грусть, не заботу, а только раздражение чувствует он, не зная, что ответить на вопросы поэта «в чем жизни нашей смысл? Где идеалы ныне?» Смысл жизни в ее процессе, а идеалы — это те славные за горами бубны, о которых не стоит и разговаривать. Г-н Чехов не высказывает этой формулы в таком обнаженном ее виде, но он ходит вокруг да около нее и осторожно инсинуирует ее читателю. Дальше будут представлены этому достаточные доказательства, а пока в тех же видах остановимся хотя бы на этом эпизоде с людьми шестидесятых годов. Г-н Чехов сознает, что осмеянный им субъект «не говорит, в сущности, ничего дурного и, вероятно (наверное, г-н Чехов!), всегда искренен». Тем не менее, как только он заговорит об идеалах, от него «начнет веять старым, заброшенным погребом». Как помирить это? Правда, бывают такие злополучные люди, в устах которых даже неглупые речи кажутся глупостями, но, ведь г-н Чехов говорит не о патологических исключениях, а о типе: по его статистическим исследованиям, в каждом городе и в каждом уезде имеется по одному такому субъекту, а в сложности это выйдет целая небольшая армия. Все эти люди говорят об идеалах, и все они при этом напоминают старый, заброшенный погреб: не ясно ли, что такое плачевное впечатление зависит не от личных, умственных или нравственных свойств разговаривающих, а от свойств самой темы? Какой бы Златоуст не заговорил об идеалах, г-н Чехов все равно скажет, что такие разговоры пора оставить, и что от них веет заброшенным погребом. Почему это? Потому, конечно, что в доме повешенного не говорят о веревке. Этого логического конца своей мысли г-н Чехов благоразумно не досказывает, и мы делаем это за него.

Осудивши разговоры об идеалах, г-н Чехов, *сам того не замечая*, тем не менее, тоскует об идеале, говорит об идеале, и говорит очень хорошо, с умом, с искренним чувством. Вот его слова, вложенные опять-таки в уста того же старого профессора: «Я думаю, долго думаю и ничего не могу еще придумать. И сколько бы я ни думал, и куда бы ни разбрасывались мои мысли, для меня ясно, что в моих желаниях нет чего-то главного, чего-то очень важного. В моем пристрастии к науке, в моем желании

жить, в стремлении познать самого себя, во всех мыслях, чувствах и понятиях, какие я составляю обо всем, нет чего-то общего, что связывало бы все в одно целое. Каждое чувство и каждая мысль живут во мне особняком, и во всех моих суждениях о науке, театре, литературе, учениках и во всех картинах, которые рисует мое воображение, даже самый искусный аналитик не найдет того, что называется общею идеей или Богом живого человека. А коли нет этого, то, значит, нет и ничего...» Через страницу профессор прибавляет: «Отсутствие того, что мои товарищи-философы называют общею идеей, я заметил в себе только незадолго перед смертью...»

Смею уверить г-на Чехова, что его «общая идея», или «Бог живого человека», есть не что иное как тот самый *идеал*, разговоры о котором так строго запрещаются нам автором. *Le non ne fait pas la chose*¹⁴, и если г-ну Чехову не нравится *слово* «идеал» и он предпочитает термин «общая идея», — мы против этого безвредного каприза не будем возражать. Но предчувствует ли г-н Чехов, что он характеризовал в приведенных нами строках не какого-то поздно спохватившегося профессора, а самого себя, свое творчество, свой талант и даже гораздо более: характеризовал то поколение и полосу жизни, типичным представителем которых он явился в нашей литературе? Именно так: при богатстве *картин воображения*, при наличности не избитых *мыслей*, довольно тонких *понятий*, искренних и хороших *чувств*, при настойчивом *стремлении познать самого себя* — полное отсутствие верховной цели, регулирующей все духовные процессы наши, придающей им смысл, оправдывающей их возникновение и бытие. «Огонь кипит в крови» потому, что вы молоды, даровиты, жизнеспособны, но «в груди царствует какой-то холод тайный», потому, что этот огонь горит, никого не согревая, ничего не освещая, горит зачем-то, так что остается только вопрошать пространство:

Кто меня враждебной властью
Из ничтожества воззвал,
Душу мне наполнил страстью,
Ум сомненьем взволновал?¹⁵

Вы глубоко правы: *коли нет этого, то, значит, нет и ничего*. Да, не в уме, не в таланте, не в знании, не в воле заключается достоинство человека и прелесть жизни, а в том верховном божестве, которому эти дары приносятся в жертву. Сами по себе и сами для себя, *an und für sich*, эти дары, как и вся наша личность, и все наше существование, не имеют смысла и могут приобрести его не прежде, чем мы найдем «общую

идею», почувствуем «Бога живого человека», уверуем в идеал. Видите, г-н Чехов, какой длинный и горячий разговор пошел у нас с вами об идеалах, и как мы уже близки к взаимному соглашению: зачем же рекомендовать прекращение таких разговоров?

Еще и еще поговорим на ту же старую и вечно новую тему. Тема эта в самом деле стара, потому что, даже по обычному счету, ей около двух тысяч лет, и тема эта еще тысячи лет останется новою, потому что известна огромному большинству людей только с формальной стороны и во внешнем смысле. Сколько людей, говоря старыми словами, не понимают, что нет пользы человеку, хотя бы он приобрел весь мир, а душу свою *отщелтит* от нравственного идеала!¹⁶ Сколько людей ежедневно, по старому ритуалу, взывают: «Господи, Господи», а *сердце их далеко отстоит* от Него!¹⁷ Всуе чтут Его! Нет основания приходить в уныние, впадать в апатию от этого: нравственный идеал есть последняя вершина человеческого сознания, достигнуть которой сразу никому не дано, и не только достигнуть делом, но и постигнуть мыслью. Нужна огромная и тяжелая историческая подготовка, чтобы общество и люди усвоили истинные начала общественности, лежащие именно в основах элементарной нравственности. Если мы представим себе общество людей, для которых десять заповедей Ветхого и две заповеди Нового Завета являются не внешними, а внутренними императивами, — людей, для которых убивать, красть, лжесвидетельствовать, завидовать и пр. также не свойственно, как глотать камни, а любить ближнего, как себя, так же естественно и необходимо, как дышать, то мы имели перед собою общество, для которого был бы бесполезен сложный государственный механизм. Но, ведь это чистейшая утопия, мыслимая, воображаемая, но, во всяком случае, слишком отвлеченная, чтобы сделаться для людей идеалом, т. е. не только благопожеланием, но и практической целью. Пусть люди постепенно воспитываются соответствующими общественными формами и учреждениями, пусть шаг за шагом приучаются к идее общественности, с привходящими в нее идеями права и долга, пусть практикуют и развивают сложное в них стремление к идеальному в достижении хоть сколько-нибудь общих, не личных, не эгоистических целей. Здесь именно и заключается значение общественных идеалов, поставляемых не навсегда, как индивидуально-нравственный идеал, а в зависимости от духа времени и от потребностей данного общества. Всякий идеал есть цель, но не всякая цель есть идеал, и вот почему нет людей,

живущих без цели, и сколько угодно людей, живущих без идеала, т. е. без общественной цели. Если чиновник поступает на службу, имея в перспективе чин тайного советника и хорошую пенсию или аренду, — он, бесспорно, имеет цель; если тот же чиновник питает тайную надежду, добившись власти, провести такие и такие-то мероприятия, полезные, по его мнению, родной земле, — он имеет не только цель, но идеал. Если мы с г-ном Чеховым пишем только затем, чтобы сорвать со своих редакций возможно больший гонорар, — никто, конечно, не скажет, что мы пишем без цели; если же мы пишем, главным образом, затем, чтобы, по мере своих сил, защитить добро, послужить истине, повредить злу, как мы их понимаем, — мы являемся с ним служителями идеала. Если, отправляясь в деревню на хозяйство, вы мечтаете на обухе рожь молотить, посредством штрафов, кабаков и ростовщичества превращать копейку в рубль, вы человек с планом, с целью; если же вы надеетесь ввести новые приемы земледельческой культуры, подействовать на мужика своим примером, своею разумною деятельностью и проч., — вы собираетесь работать на пользу идеала. В первом случае все эти люди поступают дурно, во втором — хорошо, хотя их деятельность не имеет *непосредственного* отношения к абсолютному идеалу, о котором вздыхает профессор г-на Чехова, как это часто бывает с людьми в виду приближающейся смерти. Напрасная грусть, греховное уныние! Служить науке — значит служить человечеству, а это все, что мы можем требовать от людей. *Qui trop embrasse, mal étireint*¹⁸. Мы можем выразить свою личность только во временном, конечном, преходящем, и грустить тут не о чем, потому что в наших частных задачах, в наших относительных целях, «как солнце в малой капле вод», отражается сияние вечного идеала.

«Все это только фразы», скажет г-н Чехов. Он это непременно скажет, или, по крайней мере, должен сказать, если только захочет быть логичным и искренним. Ведь его шестидесятник, рассуждая об идеалах, мог говорить только в том же духе, в каком говорили и мы, а от его речей веяло на г-на Чехова старым, заброшенным погребом. Не от замогильного же тенорка получил г-н Чехов такое впечатление, вообще не от формы, а от сущности самой темы, антипатичной г-ну Чехову. Он просто не верит в возможность плодотворной деятельности, видит только изнанку жизни с ее мелочами и противоречиями, ему представляются фразерством всякие толки об идеалах. *Общую идею* он ценит, ищет, призывает, потому что она абсолютна и могла бы заполнить какую угодно душевную пустоту, но

общественной идеи он усвоить не в состоянии. Если позволено сравнить живого человека с литературным типом, мы сказали бы, что г-н Чехов переживает то самое нравственное состояние, которое так хорошо изобразил Толстой в личности Левина. Но, в то время как Левин *болел* своим неверием и доходил даже до мысли о самоубийстве, г-н Чехов, можно сказать, кокетничает своим скептицизмом и только иронизирует на счет тех, по его мнению, простофиль, которые верят, что даже самая скромная деятельность может быть миссией, что в жизни есть не только смысл, но и разум.

Смена поколений всегда сопровождается сменой идеалов, и иначе быть не может. Один из поэтов пушкинской формации очень хорошо характеризовал это:

Наш мир — им храм опустошенный,
Им баснословье — наша быль,
И то, что пепел нам священный,
Для них одна немая пыль¹⁹.

Это в порядке вещей, и никакое поколение не вправе требовать уважения к своим традициям, к своему «пеплу священному»: об этом рассудит беспристрастная история. Но идеалы уступают место идеалам же, а не отрицанию идеалов. Пусть наша быль отслужила свою службу и превратилась в баснословие, пусть опустошен наш храм: создайте же другую быль, соорудите другой, лучший храм, иначе людям жить нечем будет. Чтобы вести людей, нужно двигаться самому, а не сидеть праздно у моря.

III

Значительный литературный талант г-на Чехова не подлежит сомнению. Г-н Чехов одинаково силен и как «пейзажист, и как бытописатель, и как психолог. Его описания природы блещут тургеневскою красотой и поэзией, его картины провинциальной жизни правдивы и широки, его психологический анализ тонок и отчетлив». Сверх этих качеств, у г-на Чехова есть, — т. е. он так полагает, — одно специальное качество, которого «нет у русских авторов» — у современных авторов, разумеется: это качество — «чувство личной свободы». Устами все того же своего профессора г-н Чехов таким образом разъясняет дело: «Я не помню ни одной такой новинки, в которой автор с

первой же страницы не постарался бы опутать себя всякими условностями и контрактами со своей совестью. Один боится говорить о голом теле, другой связал себя по рукам и ногам психологическим анализом, третьему нужно “теплое отношение к человеку”, четвертый нарочно целые страницы размазывает описаниями природы, чтобы не быть заподозренным в тенденциозности... Один хочет быть в своих произведениях непременно мещанином, другой — непременно дворянином и т. д. Умышленность, осторожность, себе на уме, но нет ни свободы, ни мужества писать как хочется, а стало быть, нет и творчества».

Это очень удобно, что г-н Чехов сам предлагает ключ к уразумению своих произведений. Годится или не годится этот ключ — об этом мы рассудим без помощи г-на Чехова, но в видах характеристики очень важно знать мнение автора о его целях и о его средствах. Рассуждение г-на Чехова очень неясно. Начать хоть с того, что творчество вовсе не свободно; *свободною*, в смысле г-на Чехова, может быть только застольная болтовня в бесцеремонной компании, где каждый может врать «как хочется», не стесняясь даже элементарными приличиями. Поэт, которому тайны творчества были поближе знакомы, нежели г-ну Чехову, характеризовал дело так:

Диктует совесть,
Пером сердитый водит ум²⁰.

Какая же это свобода — писать под диктовку? Возьмем хоть бы эту, осуждаемую г-ном Чеховым, боязнь говорить о голом теле. Если эта боязнь происходит из опасения оскорбить нравственное чувство читателя, — в ней не только нет ничего дурного, а, напротив, очень много почтенного, потому что источник самого этого опасения заключается в чуткой совести писателя. Далее, «один хочет быть в своих произведениях непременно мещанином, другой — непременно дворянином и т. д.». Опять повторяем свой вопрос: почему именно он хочет быть дворянином? И не странная ли это логика: если писатель *хочет* быть непременно дворянином в своих произведениях, значит он не имеет мужества писать *как хочется*... Что такое вы говорите, г-н Чехов? Но не в том сущность дела и не будем подлавливать на словах, на неловких выражениях. Если писатель хочет быть дворянином в своих произведениях, т. е. проводить или защищать специальные дворянские интересы (путем, например, идеализирования дворян, изображением их рыцарями без страха и упрека, как это делал, например, Болеслав Маркевич²¹) в силу внешних побуждений и соображений, — об его

творческой свободе, конечно, не может быть и речи. Но если это *желание* обусловлено *убеждением*? Вопрос, надеемся, разъяснится окончательно, если читатель припомнит горькие сетования профессора: «Во всех моих мыслях, чувствах и понятиях, какие я составляю обо всем, нет чего-то общего, что связывало бы все это в одно целое». Вот именно отсутствие этой *связи* г-н Чехов и называет *свободой*. От этой дивной свободы профессор на старости лет, попросту говоря, чуть не волком взвыл, а г-н Чехов, устами того же профессора, рекомендует ее к руководству современным авторам. Это противоречие уже не слов, путаница уже не фраз, а противоречие принципов, путаница понятий. Усерднейшим служителем свободы, которую проповедует г-н Чехов, является в нашей литературе известное периодическое издание, недаром считающее г-на Чехова в числе своих постоянных сотрудников²²: сегодня оно мещанин, завтра дворянин, а послезавтра неизвестно чем явится; сегодня оно смешает с грязью известное явление или известную идею, а завтра, или даже сегодня же, но в другом месте и в другой статье, то же самое явление в пух и прах расхвалит. *Контракт с совестью* оно не заключает никаких и никогда...

Было бы желательно, чтобы г-н Чехов сам себе уяснил свое собственное выражение «писать как хочется». Ведь хотения наши обуславливаются очень различными причинами, происходят из различных источников. Одному *хочется* писать так, чтобы по возможности всем угодить и всем понравиться; другому *хочется* как-нибудь заявить о своем существовании; третьему *хочется* зашибить своим писанием копейку; четвертому *хочется* поделиться мыслью; пятому *хочется* удовлетворить требованиям своей совести. Все эти писатели в равной мере не свободны, но не в равной мере достойны, об этом и г-н Чехов не будет спорить. Где же критерий свободы? Хотение не первопричина, а результат, и ценность его совсем не бесспорна. Есть хотения, которые нужно обуздывать и даже подавлять, — эта мысль так проста, что нашла себе выражение даже в пословице. Мой физический организм хочет комфорта; мое самолюбие хочет удовлетворения; мой ум хочет пищи; моя совесть хочет успокоения. Спрашивается, которое из этих хотений имеет право на первое место, повинуюсь которому из них писатель охранит свободу своего творчества? Этому вопросу г. Чехов даже не касается, а, между тем, в нем все дело.

Мы видели, как решает этот основной вопрос Лермонтов: «Диктует совесть, пером сердитый водит ум». Тут не может быть ни сомнений, ни недоразумений. Верховный регулятор

творчества и его безапелляционный критерий поставлен с совершенною ясностью: совесть, нравственное сознание человека указывает писателю темы, определяет его симпатии и антипатии, посылает его в «стан ликующих» или в «стан погибающих»²³, а роль ума сводится к тому, чтобы найти для этих симпатий и антипатий достаточные обоснования, возможно убедительные теоретические резоны. То же самое, в сущности, говорит и Конт в своем «Курсе»: «Si le coeur doit toujours poser les questions, c'est toujours à l'esprit qu'il appartient de les résoudre»²⁴. Великий русский поэт и великий французский мыслитель сошлись в определении процесса творчества: контовский *le coeur*, очевидно, есть ни что иное, как лермонтовская «совесть». Перед такими свидетельствами невеликому г-ну Чехову придется скромно ступешаться.

Г-н Чехов, говоря о своем герое, в сущности, очень верно указал на основной недостаток своего собственного творчества и вообще своего умственного и нравственного состояния. «Во всех мыслях, чувствах и понятиях, какие я составляю обо всем, нет чего-то общего, что связывало бы все это в одно целое. Каждое чувство и каждая мысль живут во мне особняком и во всех моих суждениях, и во всех картинах, которые рисует мое воображение, нет того, что называется общею идеей». В *третий* раз цитирую я эти слова, — до такой степени они характерны для г-на Чехова с самых разнообразных точек зрения. Именно, именно так: *суждения* г-на Чехова очень часто метки и остроумны, *картины* его воображения большею частью яркие и живы, но в чем состоит *миросозерцание* его — этого никто не скажет, потому что у г-на Чехова его вовсе нет. Суждения и картины г-на Чехова, т. е. вся совокупность его литературных произведений, представляется какою-то беспорядочною кучей материала, среди которого немало хлама, но еще больше настоящих драгоценностей. Это не сырой материал: суждения и картины г-на Чехова, взятые в отдельности, являются вполне законченными и обработанными изящными вещичками, но между ними именно нет общей связи и созданы они без всякого общего плана. Мало сравнить произведения г-на Чехова с картинною галереей, для которой не имеется каталога: их можно сравнить с сараем, в котором сложены как попало и пейзажи Калама²⁵, и карикатуры Гогарта²⁶, и чувственные картины Рубенса, вперемешку с апраксинскими нимфами и, изредка, даже с красными жестяными вывесками.

Подумайте, что это работа одного и того же человека, одна и та же кисть изобразила и этот солнечный закат, от которого

веет на вас таким спокойствием и миром, и эту надпись «Золотой Лебедь» или «Развеселый Бережок»! Сомневаться в таланте художника нельзя; но в чем заключается смысл его деятельности?

Было бы очень печально, если бы все эти замечания наши навели читателя на мысль, что бесцельность и бессвязность писаний г-на Чехова происходит от его нравственного бессилия, что он не пишет под диктовку совести, потому что некому или нечему диктовать, или что эта диктовка слишком невразумительна и косноязычна. Г-н Чехов один из наиболее искренних писателей наших, таково, по крайней мере, было мое субъективное впечатление каждый раз, как я раскрывал его произведения. Но это писатель ищущий и не нашедший, писатель без опоры и без цели. Талант его настолько энергичен и жизнеспособен, что неотступно требует для себя внешнего выражения. Повинуясь этому требованию, г-н Чехов берет за перо и немедленно чувствует, что хотя ему и хочется говорить, но сказать, в сущности, нечего. Его совесть чутка, но она находится в пассивном состоянии. Г-на Чехова коробит нравственно всякая ложь жизни, всякая фальшь в человеке, но противопоставить чужой неправде свою собственную правду он не может, потому что не обладает ею. Это бы еще с полгоря: проживет молодой и даровитый человек, много передумает и перечувствует, запасется опытом, подойдет поближе к страданиям человеческим, сознает долю своей ответственности за них, и из индифферентного созерцателя превратится в борца, который недаром проживет свою жизнь. Не всегда так бывает, но бывает, и надежды такого рода мы могли бы возлагать и на г-на Чехова, если бы... если бы не его самоуверенность, во-первых, и не безвременье, во-вторых, — то безвременье и безлюдство наше, среди которого воспитался г-н Чехов. Он не спросил, как спрашивал тосковавший поэт:

Где ж вы, умелые, с бодрыми лицами?
 Где же вы с полного жита кошницами?
 Труд засевающих робко, крупицами,
 Двиньте вперед!²⁷

В этой тоске есть надежда, в этом отчаянии есть вера, тогда как г-н Чехов посмотрит направо и презрительно прищурится, посмотрит налево и иронически улыбнется: никаких таких умелых с бодрыми лицами и в помине нет. Безвременье дает г-ну Чехову объективное основание для такого вывода, а субъективные мотивы, заключающиеся именно в его самоуверенности, влекут его в том же направлении. Свое *сомнение* он мало-помалу превращает в *отрицание*, потому что историческую передышку

(если можно так выразиться) считает нормальным общественным состоянием, и вот почему мы считаем и называем его *жертвой безвременья*.

Один из героев Помяловского, Череванин, говорил своему другу Молотову о своем душевном состоянии: «Не хочется захотеть»²⁸. Г-н Чехов мог бы сказать о себе: не верится, что можно верить. Он, как Фома, не убеждается чужими свидетельствами, ни даже свидетельством истории, и хотел бы непременно собственными руками осязать язвы гвоздиные. Кроме того, он большой эстетик, поклонник внешней красоты, так что проповедник в порыжелой шляпе и в истасканной крылатке вряд ли мог бы иметь у него успех, хотя бы говорил, как Цицерон или Демосфен. Он скажет в этом случае, подобно одной даме в повести Слепцова «Трудное время»: «Я знаю, что земля вертится, но я этому не верю». Легенда о трех китах, разумеется, гораздо поэтичнее...

Эта общая характеристика нуждается, конечно, в фактических доказательствах.

IV

Мы остановимся только на главнейших произведениях г-на Чехова и притом только на тех из них, которые выражают какую-нибудь новую фазу развития автора или, по крайней мере, новый мотив в его настроении. Таких произведений мы насчитываем три: повести «Степь» и «Огни» и драма «Иванов». Прочие большие вещи г-на Чехова — «Именины», «Скучная история», «Дуэль», «Жена» — представляют собою только более или менее удачные вариации на ту тему, которая первоначально выражена в драме «Иванов».

Прочитавши «Степь», всякий скажет, что автор этой повести с природою одною жизнью живет, понимает ручья лепетанье и чувствует трав прозябанье. Г-н Чехов одушевляет природу, относится к ней, как к разумному существу, видит в ее феноменах что-то гораздо большее, нежели простую борьбу или игру стихий. Вот одно из его описаний: «Воздух все больше застывал от зноя и тишины, *покорная* природа цепенела в молчании... Ни ветра, ни бодрого свежего звука, ни облачка. Но вот, наконец, когда солнце стало спускаться к западу, степь, холмы и воздух не *выдержали гнета и, истоцивши терпение, измучившись, попытались сбросить с себя иго*. Из-за холмов неожиданно показалось пепельно-седое, кудрявое облако. Оно *перегляну-*

лось со степью — я, мол, готово — и *нахмурилось*. Вдруг в стоячем воздухе что-то порвалось, сильно рванул ветер и с шумом, со свистом закружился по степи. Тотчас же трава и прошлогодний бурьян *подняли ропот*, на дороге спиралью закружилась пыль, побежала по степи и, увлекая за собой солому, стрекоз и перья, черным, вертящимся столбом поднялась к небу и затуманила солнце. По степи, вдоль и поперек, спотыкаясь и прыгая, побежали перекасти-поле, а одно из них попало в вихрь, завертелось, как птица, полетело к небу и, обратившись там в черную точку, исчезло из вида. За ним понеслось другое, потом третье, и Егорушка видел, как два перекасти-поле столкнулись в голубой вышине и *вцепились друг в друга*, как на поединке». Обратите внимание на подчеркнутые нами слова: такие эпитеты употребляются при описании не стихий, а людей, но у г-на Чехова это обычный прием. У него, в других местах рассказа, воздух *«покорно застывает»*, солнце *«напряженно пялит свои лучи во все стороны»*, старается *брызнуть светом*, молния *мигает*, у тучи *«пьяное, озорническое выражение»*, унесенным вихрям перекасти-поле *«было страшно»*, небо *«разламывается»*, гром *«явственно отчеканивает: трах! тах! тах! тах! — катится по небу, спотыкается и сливается с злобным отрывистым: трра! У г-на Чехова есть «большой, искренний пес», и ему представляется даже, что «коршун летит и вдруг останавливается в воздухе, точно задумавшись о скуке жизни»*. Это не манерность, — манерничают только посредственности и бездарности, а г-н Чехов настоящий талант, — это именно чрезвычайное проникновение природой, которая для г-на Чехова совсем не представляется *«равнодушной»*: она в его глазах не только *«красою вечною сияет»*²⁹, но и чувствует, страдает, мыслит. Засохла трава от зноя: что вы скажете об этом? Но что же, кроме того, что насыдятся бедные мужики без сена, и что местному земству не мешало бы побеспокоиться на этот счет? Так рассудили мы, натуры прозаические, но г-н Чехов чувствует трав прозябанье и потому пишет: *«...пела трава; в своей песне она, полумертвая, уже погибшая, без слов, но жалобно и искренно убеждала кого-то, что она ни в чем не виновата, что солнце выжгло ее понапрасну; она уверяла, что ей страстно хочется жить, что она еще молода и была бы красива, если бы не зной и не засуха; вины не было, но она все-таки просила прощения у кого-то и клялась, что ей невыносимо больно, грустно и жалко себя...»*. Будьте уверены, что это не метафора: созерцательным и поэтическим натурам преискренно может казаться, что засыхающая трава жалуется, грустит, просит прощения. Субъективное впе-

чатление до того сильно в них, что они распространяют его и на окружающую среду.

Для нас это важно в том отношении, что благодаря этому обстоятельству перед нами раскрывается внутренний мир писателя. Кольцов восклицал: «Ах ты, степь моя, степь привольная!» Гоголь лирически восторгался: «Черт вас возьми, степи, как вы хороши!» Народ, наконец, эпически воспеваает степь Моздокскую, которая размахнулася-протянулася от города Царицына до того ли что князя Голицына. А г-н Чехов тоскует и плачет, *только* тоскует, глядя на степь, без малейшей примеси того чувства простора, шири, свободы, удалы, которое так свойственно жизнерадостному русскому человеку. Трава сохнет — г-н Чехов плачет; коршун летает — не задумывается ли он о скуке жизни? Степные птицы кричат — «для кого они кричат и кто их слушает на этой равнине, Бог их знает, но в крике их много грусти и жалобы». Встречается г-ну Чехову в степи одинокий тополь: «кто его посадил и зачем он здесь, Бог его знает. От его стройной фигуры и зеленой одежды трудно оторвать глаза». Слава Богу, наконец, и г-н Чехов нашел, чем можно полюбоваться в степи, *просто* полюбоваться, без лукавого мудрствования! Ничуть не бывало: г-н Чехов не замедлит отравить свое удовольствие капелькой скептического яда. Он спрашивает: «Счастлив ли этот красавец? Летом зной, зимой стужа и метели, осенью страшные ночи, когда видишь только тьму и не слышишь ничего, кроме беспутного, сердито воющего ветра, а главное — всю жизнь один, один...» Очень хорошо, не правда ли? Но г-н Чехов может и еще больше удивить. Раз, единственный раз только, он заговорил было языком страсти и живой любви, но каким зауспокойным плачем он прервал свою едва начатую здравицу! Вот *начало*: «В трескотне насекомых, в глубоком небе, в лунном свете, в полете ночной птицы, во всем, что видишь и слышишь, начинают чудиться торжество красоты, молодость, расцвет сил и страстная жажда жизни; душа дает отклик прекрасной суровой родине и хочется лететь над степью вместе с ночною птицей». А вот *конец*: «И в торжестве красоты, в излишке счастья чувствуешь напряжение и тоску, как будто степь сознает, что она одинока, что богатство ее и вдохновение гибнут даром для мира, никем не воспетые и никому не нужные, и сквозь радостный гул слышишь ее тоскливый, безнадежный призыв: певца! певца!»

Тоскливо самому г-ну Чехову, и вот он покрывает зеленую и веселую степь черным флером своей непонятной грусти. Наконец, степные lamentации г-на Чехова разрешаются чисто пес-

симилистическим воплем: «Когда долго, не отрывая глаз, смотришь на глубокое небо, то почему-то мысль и душа сливаются в сознание одиночества. Начинаешь чувствовать себя неоправданно одиноким и все то, что считал раньше близким и родным, становится бесконечно далеким и не имеющим цены. Звезды, глядящие с неба уже тысячи лет, само непонятное небо и мгла, равнодушные к короткой жизни человека, когда остаешься с ними с глазу на глаз и стараешься постигнуть их смысл, гнетут душу своим молчанием, приходит на мысль то одиночество, которое ждет каждого из нас в могиле, и сущность жизни представляется отчаянной, ужасной...» Остановимся на этом. Тема повести, а равным образом настроение, умственное и нравственное состояние ее автора выяснились с достаточной полнотой. Что произошло дальше? Дальше произошла борьба или, вернее, попытка к борьбе с осаждавшими г-на Чехова мрачными образами и пессимистическими воззрениями, и результатом этой борьбы явилась повесть «Огни», хронологически непосредственно следовавшая за «Степями». Как литературное произведение эта повесть у г-на Чехова одна из слабейших, но она драгоценна как психологический документ, как некоторое внутреннее откровение со стороны автора. Тенденция повести заключается в ниспровержении как раз тех мыслей о бренности всего земного, которые начали овладевать г-ном Чеховым в «Степях». Очевидно, г-н Чехов почувствовал что-то неладное в этих мыслях и вздумал от них оборониться, да, кстати, оборонить и читателя. Скажем прямо: предприятие не удалось. Этой неудачи не скрывает, впрочем, и сам г-н Чехов, откровенно заявляя в конце повести: «Ничего не разберешь на этом свете!» Такое резюме всех героев повести о пагубности пессимизма свидетельствует, конечно, о *сомнении*, а не об *убеждении*. Если *ничего не разберешь*, так что уж и говорить о пессимизме! Может быть, он ложь, и, может быть, в нем-то и заключается самая подлинная истина — это еще разобрать надо.

Но этого мало, что г-н Чехов выражает сомнение: тайные симпатии его принадлежат как раз тем мыслям, которые он будто бы опровергает. Он довольно удачно маскирует свои цели, но ведь кому же и уметь читать между строк, как не критике. Прежде всего, пессимист г-на Чехова гораздо умнее его оптимиста (сущность повести заключается в споре между этими двумя персонажами). Так, по крайней мере, рисует г-н Чехов. О своем пессимизме он пишет: «На его умном, покойном лице я читал: “Ничего я пока не вижу хорошего ни в определенном деле, ни в

определенном куске хлеба, ни в определенном взгляде на вещи. Все это вздор. Был я в Петербурге, теперь сижу здесь в бараке, отсюда осенью уеду опять в Петербург, потом весной опять сюда... Какой из всего этого выйдет толк, я не знаю, да и никто не знает. Стало быть, и толковать нечего»». Инженера слушал он без интереса, с тем снисходительным равнодушием, с каким кадеты старших классов слушают расхорившегося добряка-дядьку. Казалось, что все, сказанное инженером, было для него не ново, и что если бы ему самому было не лень говорить, то он сказал бы нечто более новое и умное. Какая импозантная фигура! Зато оптимист-инженер не имеет в наружности ничего манфредовского. У него не «покойное, умное», а «загорелое, толстоносое» лицо. Он «не был ни молод, ни стар, любил хорошо поесть, выпить и похвалить прошлое, слегка задыхался при ходьбе, во сне громко храпел. По-видимому, он был неравнодушен к отвлеченным вопросам, любил их, но трактовать их не умел и не привык». Как видите, совершенно чичиковские приметы, даже с включением охоты потрактовать «какую-нибудь эдакую науку». Читатель заранее может быть уверен, что диспут между Манфредом и Чичиковым не кончится добром для последнего... Так оно и есть, конечно: с первого же приступа к делу оптимист, к полному удовольствию г-на Чехова, начинает следующим образом косить самого себя по ногам:

«Всею душой ненавижу эти мысли! — говорил он. — Я сам был болен ими в юности, теперь еще не совсем избавился от них и скажу вам, может быть, оттого, что я глуп, и что эти мысли для меня не по коню корм, — они не принесли мне ничего, кроме зла. Это так понятно! Мысли о бесцельности жизни, о ничтожестве и бренности видимого мира, соломоновская «суета сует» составляли и составляют до сих пор высшую и конечную ступень в области человеческого мышления. Дошел мыслитель до этой ступени и — стоп машина! Дальше идти некуда. Этим завершается деятельность нормального мозга, что естественно и в порядке вещей. Наше же несчастье в том, что мы начинаем мыслить именно с этого конца. Чем нормальные люди кончают, тем мы начинаем. Мы с первого же абцуга, едва только мозг начинает самостоятельную работу, взбираемся на самую высшую, конечную ступень и знать не хотим тех ступеней, которые пониже. Согласитесь, что при таком несчастном способе мышления невозможен никакой прогресс, ни науки, ни искусства, ни само мышление. Нам кажется, что мы умнее толпы и Шекспира, в сущности же, наша мыслительная работа сводится на ничто, так как спускаться на нижние ступени у нас нет

охоты, а выше идти некуда, так и стоит наш мозг на точке замерзания — ни тпру, ни ну...» Такое удивительное *опровержение* лучше всякой защиты, конечно. Помилуйте! Пессимизм составляет *высшую и конечную ступень в области человеческого мышления; им завершается деятельность нормального мозга; дальше пессимизма идти некуда*. Что же и толковать после этого? Каждому хочется забраться на высшую и конечную ступень мысли, и если она заключается в пессимизме, то незачем отворачивать от него людей. *Несчастный способ мышления*, говорит оратор г-на Чехова, и, конечно, говорит вздор: есть способы мышления истинные и есть способы ложные, а счастливых или несчастных, приятных или неприятных способов нет. *Dura lex, sed lex*³⁰. Как бы ни горька была истина, но если она подлинная истина, мы обязаны принять ее со всеми ее теоретическими и практическими последствиями.

Я не полемизирую с г-ном Чеховым, а наблюдаю, изучаю и характеризую его. Если он считает пессимизм венцом человеческой мысли, то пусть так и остается. Разубеждать г-на Чехова нет надобности, потому что в его личном примере нет опасности: не только русское общество, но весь цивилизованный мир видел и видит другой, гораздо более крупный пример противоположного смысла, пример гениального писателя и искреннейшего человека, который путем отрицания пришел к утверждению, через мрак пессимистического отчаяния пришел к вере. Следовало бы ожидать, что г-н Чехов, познав «высшую и конечную ступень», окончательно утвердится на ней и подарит миру ряд произведений на щедринскую тему — «все на свете сем превратно, все на свете коловратно»³¹. Однако г-ну Чехову, должно быть, показалось слишком холодно и неприятно на высотах всеотрицания, и он спустился с этих высот опять к нам, в толпу, но сохранив на своем лице ту самую кислую гримасу, с какой он взирал на вселенную. Отвлеченный пессимизм выродился у г-на Чехова в практический скептицизм, живо напоминающий скептицизм известного гоголевского героя: «В вашем городе один только почтмейстер порядочный человек, да и тот, по правде сказать, свинья». Плодом этого нового настроения г-на Чехова явилась драма «Иванов», на которой мы теперь и остановимся. Герой драмы *Иванов* — это заметьте прежде всего: Ивановых, как известно, бесчисленное множество у нас, так что самая фамилия героя указывает на его типичность. Однако вот что этот герой говорит о себе: «Ну, не смешно ли, не обидно ли? Еще года нет, как был здоров и силен, был бодр, неутомим, горяч, работал этими самыми руками, го-

ворил так, что трогал до слез даже невежд, умел плакать, когда видел горе, возмущался, когда встречал зло. Я знал, что такое вдохновение, знал прелесть и поэзию тихих ночей, когда от зари до зари сидишь за рабочим столом или тешишь свой ум мечтами. Я веровал, в будущее глядел как в глаза родной матери... А теперь, о, Боже мой! Утомился, не верю, в бессилье провожу дни и ночи. Не слушаются ни мозг, ни руки, ни ноги. Что же со мной? Откуда во мне эта слабость? Что стало с моими нервами? Стоит только больной жене уколоть мое самолюбие, или не угодит прислуга, или ружье даст осечку, как я становлюсь груб, зол и не похож на себя... Не понимаю, не понимаю, не понимаю!» Чего ж тут не понимать? — спросим мы. — Человек, очевидно, болен, и ему не рассуждать следует, а надо поскорей собираться и ехать за помощью к профессору Манассеину, а быть может, и к профессору Балинскому или доктору Чечоту³². Расстройство нервов — болезнь очень известная, и медицина против нее совсем не бессильна. *Еще года нет*, как Иванов был совершенно здоров — это значит, что болезнь его не слишком запущена, но, все-таки, ему надо поторопиться лечиться: это очень серьезный симптом, если *не слушаются ни мозг, ни руки, ни ноги*, и дело может кончиться скверно.

Этим доброжелательным советом несчастному Иванову мы могли бы и ограничиться. Какой же это драматический герой, и какой же это тип? Мало ли чем люди болеют! Г-н Чехов думает иначе и видит в личном несчастье Иванова действие каких-то общих причин. Хотя Иванов, как мы видели, трижды *не понимает* своего состояния, тем не менее, он *объясняет* его таким, например, образом: «Видишь ли, что я хотел сказать. У меня был рабочий Семен. Раз, во время молотьбы, он захотел похвастать перед девками своею силой, взвалил себе на спину два мешка ржи и надорвался. Умер скоро. Мне кажется, что я тоже надорвался. Гимназия, университет, потом хозяйство, школы, проекты... Веровал я не так, как все, женился не так, как все, горячился, рисковал, деньги свои бросал направо и налево, был счастлив и страдал, как никто во всем уезде. Все это мои мешки. Взвалил себе на спину ношу, а спина-то и треснула. Впрочем, быть может, это не то...» Это очень рискованный диагноз. Есть болезнь, называемая переутомлением, постигающая людей, работающих сверх своих сил, но, во-первых, болезнь эта подкрадывается постепенно, а ведь Иванов «еще года нет, как был силен и здоров»; во-вторых, болезнь эта излечивается отдыхом, а Иванов давно уже «в безделье проводит дни и ночи» и все-таки не выздоравливает; а в-третьих, какие такие особенные

подвиги совершил Иванов, чтобы надорваться в тридцать пять лет от роду? Гимназия, университет, потом хозяйство, школы, проекты, женился, горячился, деньги бросал, был счастлив и страдал... Кажется, это биография довольно обыкновенная, биография большинства интеллигентных людей, которые, однако же, сохраняют до конца дней власть над своим мозгом, над своими руками и ногами. Но «я был счастлив и страдал, как никто во всем уезде», — говорит Иванов. Ну, это дело субъективное, инструментов для определения интенсивности впечатлений еще не придумано и каждому свои слезы солони. В одну из минут просветления Иванов воскликнул: «Эх, волк меня заешь, выкурить бы из меня казанскую сироту только — совсем бы настоящий мужчина был!». Вот именно в том и беда Иванова, что он по натуре своей не мужчина, а *казанская сирота*, которой свойственно не трудиться, не бороться, а пригорюнившись сидеть. Тем не менее, г-н Чехов так уважает эту сироту, что поручает ей — excusez de peu!³³ — наставлять нас уму-разуму, учить нас жить, и сирота исполняет это поручение с неподражаемо-комическим апломбом. Иванов, несмотря на то, что его «не слушает мозг», преподает такого рода *смелые уроки*: «Вы, милый друг, кончили курс только в прошлом году, еще молоды и бодры, а мне тридцать пять. Я имею право вам советовать. Не женитесь вы не на еврейках, ни на психопатках, ни на синих чулках, а выбирайте себе что-нибудь заурядное, серенькое, без ярких красок, без лишних звуков. Вообще всю жизнь стройте по шаблону. Чем серее и монотоннее фон, тем лучше. Голубчик, не воюйте вы в одиночку с тысячами, не сражайтесь с мельницами, не бейтесь лбом о стены... Да хранит вас Бог от всевозможных рациональных хозяйств, необыкновенных школ, горячих речей... Запритесь себе в свою раковину и делайте свое маленькое, Богом данное дело... Это теплее, честнее и здоровее. А жизнь, которую я пережил, — как она утомительна! Ах, как утомительна!... Сколько ошибок, несправедливостей, сколько нелепого!» Вот какие проповедники водятся в наших провинциях! Правда, встречаются там и другие, хотя бы, например, те, которые говорят об идеалах, но ведь от их речей веет заброшенным погребом, по уверению г-на Чехова. Чем веет от речей Иванова? Они нам хорошо знакомы, эти речи, эти «трезвенные слова», по выражению Салтыкова. Одно время в нашей журналистике от этих «слов», можно сказать, проходу не было, и наш сатирик недаром говорил: «Жить *так*, хлопать себя по ляжкам, довольствоваться разрозненными фактами и не видеть надобности в выводах (или трусить таковых), — вот истинная норма современной жизни».

К этой именно *норме* и приглашает Иванов. Удивительного тут нет ничего: все неудачники, обжегшись на своем молоке, любят дуть на чужую воду; все дезертиры, еще не успевшие превратиться в откровенных ренегатов, любят причитать: «Ах, почто за меч воинственный я свой посох отдала!»³⁴ Но удивительно (а, впрочем, и это не так уж удивительно), что наш талантливый автор относится к своему герою не только серьезно, но и тепло, с очевидною симпатией, не говоря уже о том, что Иванов в конце драмы застреливается и тем естественно возбуждает в читателях или зрителях чувство жалости к себе, от которого недалеко и до симпатии, все окружающие Иванова относятся к нему с уважением и с любовью, не как к шуту и фразеру, а как к мученику. Исключение составляет только один доктор Львов, которому за то достаётся от автора. Он представлен в виде какого-то «честного» идола, который затвердил несколько моральных сентенций и раздает их направо и налево, вместе с плюхами и ругательствами. Доктор — человек принципов, человек определенного направления, — словом, «честный» человек, как он беспрестанно называет себя, а такой человек, по мнению г-на Чехова, может быть создан только из папье-маше, каким он и является в драме. Прямое назначение его — оттенять своим «честным» бездушием и тупую логичностью нервность, страстность, живую плоть и живую кровь Иванова. Симпатии автора, таким образом, очевидны.

Итак, вот три фазиса, через которые прошло творчество г-на Чехова. Сначала беспредметная и беспричинная грусть, в силу которой проливаются слезы даже над одиночеством в степи тополя. Это — первый фазис, выразившийся в повести «Степь». Затем превознесение, под видом опровержения, метафизического нигилизма, или так называемого пессимизма. Это — второй фазис, выразившийся в повести «Огни». Третий и последний фазис, в духе которого написаны *все* последующие произведения г-на Чехова, состоит в примирении с жизнью, но не в высшем, а в вульгарном ее значении, — примирении с процессом, а не с идеалом жизни. Собственно *жизнь* по-прежнему остается для г-на Чехова тяжелою загадкой, «скучною историей», но конкретная действительность уже не печалит, не волнует, не раздражает его. Наоборот, его раздражают именно напоминания о необходимости идеала среди мелочей жизни, которые, по его мнению, тем и хороши, что мелки и не требуют больших размышлений над собою. «Запритесь себе в свою раковину и делайте свое маленькое, Богом данное дело». Этою фразой Иванова ре-

зюмируется вся сущность литературной деятельности г-на Чехова в его последнем периоде.

Что ждет г-на Чехова в будущем? Остановится ли он окончательно на этой реабилитации действительности, на этом идолопоклонстве перед существующим фактом? Г-н Чехов так далеко успел уйти в этом направлении, что этого можно опасаться. Но тут же г-н Чехов так хорошо и убедительно сказал: «коли нет общей идеи, значит у человека ничего нет», что мы получаем право надеяться. Будем же надеяться: ведь дело так просто и так громко говорит само за себя. Пусть так: запремся и будем делать свое маленькое, Богом данное дело. Но как узнать, точно ли это дело поручено нам Богом? Для этого, конечно, мы должны в лучшие свои минуты возноситься духом к подножию Его престола и в этом царстве чистого идеала черпать свою уверенность и обновлять свои силы. Вера двигает даже горами, не только людьми.

